

А.А. Грякалов*

В.В. РОЗАНОВ: ПИСЬМО И ЭТОС СВИДЕТЕЛЬСТВА**

В статье рассмотрены концепты *письмо*, *свидетельство* и *этнос* наряду с категорией *понимание* как базовые в творчестве В.В. Розанова. Именно в средоточии этих определений складывается оригинальная утверждающая жизнь и литературу мысль Розанова, где топологическое построение рассуждений, сводимых в гетерогенном взаимодействии, дает возможность говорить об актуальных для современности этосе письма и этике события. За кажущейся произвольностью и импрессионистичностью письма скрывается единая в своей множественности позиция, что позволяет говорить об этосе творчества в особо значимом для Розанова изводе свидетельства, где внимание к вещи, предметности и конкретным переживаниям глубоко соотносено с традицией жизненного мира и с предельным вниманием к символическим смыслам и образам культуры. Этнос свидетельства и этика события, рассмотренные на материале творчества Розанова, позволяют обратиться к темам соотношения эстетики творчества, этики поступка и актуальной политики, представляющей как та область жизнестроения, где нельзя отказаться от принятия решений. Автор, выступающий как *субъект-свидетель*, значим для понимания субъекта и субъективности в эпистемологическом контексте и ценностной ауре современности.

Ключевые слова: В.В. Розанов, литература, понимание, письмо, свидетельство, переживание, неопределенность, этнос, этика события

Vasily Rozanov: writing and the ethos of testimony. ALEKSEY A. GRYAKALOV (The Herzen State Pedagogical University of Russia)

The article considers the concepts of writing, testimony and ethos along with the category of understanding as basic in Vasily Rozanov's work. It is in the center of these concepts and categories that Rozanov's original idea affirming life and literature is formed, where the topological construction of reasoning reduced in heterogeneous interaction makes it possible to talk about events relevant to modernity. Behind the apparent arbitrariness and impressionistic writing, there is a single position in its multiplicity, which allows us to talk about the ethos of creativity in a particularly significant for Rozanov form of testimony, in which attention to materiality, objectivity and specific experiences is deeply correlated with the tradition of the lifeworld and with the utmost attention to symbolic meanings and images of culture. The ethos of testimony and ethics of events, considered on the material of Rozanov's work, allow us to turn to the themes of the correlation between the aesthetics of creativity, the ethics of acting and actual politics, which appears as the area of life structure where it is impossible to abandon decision-making. The author, acting as a subject-witness, is significant

* ГРЯКАЛОВ Алексей Алексеевич, доктор философских наук, профессор кафедры философской антропологии и истории философии Института философии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

E-mail: alexalgr@mail.ru

© Грякалов А.А., 2021

** Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ. Проект № 19-011-00899а.

for understanding the subject and subjectivity in the epistemological context and the value aura of modernity.

Keywords: Vasily Rozanov, literature, understanding, writing, testimony, experience, uncertainty, ethos, ethics of event

Произведение В.В. Розанова «Уединенное» может казаться в первом приближении наброском *мерцаний* – наблюдений и размышлений. И множественность последующих истолкований вряд ли будет завершена в настоящем или ближайшем будущем, тем более на фоне интереса к идеям *метамодерна*, где актуализирована гетерогенность и взаимопроникновение недавно совсем, казалось бы, смещенных позиций. На этом фоне островки-афоризмы приобретают не только экзистенциальное и персоналистское значение, но эпистемологическую и этическую определенность, которую представляет проникновенное письмо как *событие*. Можно взглянуть и с другой стороны – при ближайшем рассмотрении, отмечал М.К. Мамардашвили, оказывается, что событие имеет структуру откровения [13, с. 190]. И в личном плане Розанов мог представлять как человек, только что испытавший «рождение из духа» [16, с. 263]. П.П. Перцов писал, что Розанов и сам не всегда знал, куда приведет захватывающая его стихия, но он переживал ее наитие. В этом смысле обращение к теме свидетельства и свидетеля уже позволяет говорить о нем как о творческом существе, стремящемся проникать в неведомое и еще не поименованное, куда устремлено не совсем принадлежащее автору *письмо*: «Первое: как ни сядешь, чтобы написать то-то и напишешь совсем другое» [18, с. 14]. Розанов писал, что в момент творчества происходило словно бы уплотнение существования и «вера доходила до какой-то раскаленности», мысли словно бы приобретали особый строй, «язык сам говорил» [18, с. 199]. Но, говоря о непредсказуемости письма, Розанов всегда сохранял связи *письма и плоти*, даже полагал, что письмо «выделяется» из феноменального плотского опыта.

Розанов и спешил навстречу своим выводам, и временами пугался их. Модерн как раз и характеризуется стремлением утверждения и переживания страха – при неисполнении ничего не остается, поскольку каждая сила модерна надеется только на себя (*воля, жизнь, бессознательное, свобода, пол*). Розанов, выделяя отдельные доминанты – *фетиши* – своего мироощущения

и письма, устремлен к целостности, в которой разные силы при всем их фетишизированном представлении действуют контингентно, но в выстраиваемом единстве, подобном единству *плоти*. В этом смысле письмо Розанова может быть полифоничным в бахтинском смысле слова – свидетельство складывается из представления многих *других*: этос предстает как родовое соединяющее переживание и знание с присутствием того, что М.М. Бахтин называл «надличностный адресат». И на фоне множественности собственных и других позиций, которые далеко не всегда принимаются и предстают легитимными, авторская свидетельствующая проникновенность побеждала.

Поэтому, стараясь понять становление письма Розанова и выстраивающийся письмом этос, необходимо провести внутреннюю диагностику письма, вычленив в сложном структурном взаимодействии некоторые «дифференциальные признаки», на основании которых можно утверждать об этосе письма. Не о тех или иных этических высказываниях (не так важно, пребывают они в согласии или друг друга «смещают»), а об объективной стратегии свидетельствующего письма как наброске и утверждении этической позиции – о переживании и рефлексии того, что Розанов называл «боль жизни». Подлинный писатель – в образе и силе свидетеля: «В сущности вполне метафизично: «самое интимное – отдаю всем»» [18, с. 44].

Стилистика произведения «Уединенное» тоже может казаться резко отличающейся от исходных интенций мыслителя, прежде всего от идей и изложения трактата «О понимании». Но письмо Розанова пребывает в становлении, не подстраивается даже под намечаемые определения – его нужно рассматривать как особого рода феномен, принципиальным образом отсылающий к становлению самого себя. Не то чтобы письмо не было обращено к ноуменальному, трансцендентному, тайному, потенциальному – еще не ставшему: как раз к этим силам и смыслам Розанов проникновенно внимателен. Феномен письма складывается поверх относительных утверждений – в нем происходит ста-

новление автора с его особым свидетельствующим отношением к миру и особого рода этосом. Отношение к миру? – «И я просто «клат на бумагу что есть»: что и образует всю мою правдивость. Она натуральная, но она не нравственная» [18, с. 197].

Это, следовательно, не подчинение императивному требованию, не этика сострадания, хотя темы страдания и сострадания явно присутствуют, даже и не безусловное следование голосу веры, наиболее, наверное, значимому для Розанова. Тут, можно сказать, построение этоса свидетельства, который формируется и подлежит постоянной проверке в самом становлении письма. И если письмо представить именно как становление, если угодно, ноосферного смысла, где не столь важны личности и имена, то представление Розанова как раз соответствует совпадению духа и субъекта: «...Я весь – дух, и весь – субъект: субъективное действительно развито во мне *бесконечно* (курсив мой. – прим. авт.), как я не знаю ни у кого, не предполагал ни у кого» [18, с. 64].

Отмеченная направленность творчества связана с вопросом о «присутствии целого», что особенно подчеркнул В.В. Биbihин: «переменчивому публицисту Розанову предшествовал совершенно другой и все равно тот же самый Розанов с философией понимания – цельного, исчерпывающего, окончательно неизменного блага. Подчеркнутая розановская переменчивость кричала о том, что цельная истина непохожа на те ее фрагменты, с которыми нам обычно приходится иметь дело» [2, с. 65]. Более того, самое понимание разума у Розанова отличается предельным вниманием к тому, что находится за пределами рационально постигаемого [6, с. 50–55]. Следует, однако, помнить, что Розанов испытал опыт точного знания с его установкой на конкретность и конечный результат. В частности, с этим связаны его последовательные упреки литературе, как *неутверждающему* неопытному занятию. Этос изначально намечен как отношение к миру и жизни, вслед исходной интенции он встроен в письмо и проступает в его становлении – письмо словно бы утыкается в предметность, вещьность и переживание. Так в основание полагается элементарный и потому неоспоримый словесный-смысловой факт – из предстающей фактичности выстраивается этос, может даже, подвергаемый в становлении диалектическому высвечиванию «с одной стороны – так, и с другой – и иначе» (В.В. Розанов)

или даже смещению. На этом фоне претензии литературе Розанов предъявлял, не разделяя авторов на *своих* и *чужих*.

Литература, чаще всего, не соответствует жизни – не отвечает на ее вопросы, живет самомнением, ей важно «впечатление слушателей». Борьба с литературоцентризмом русской литературы в предреволюционные годы стала постоянной темой Розанова [11, с. 108]. Это, можно сказать, отечественный аналог борьбы с метафизикой в европейской философии.

Актуально особое до-идейное знание-переживание – в нем стяженно сближены импресии и рефлексия. В разумном исходно присутствует тайная уединенность. И действие мысли Розанова со студенческих лет в Московском университете складывалось, можно сказать, топологически: «сначала не столько обдумывание идеи, сколько созерцание ее, вылилось в ряд как бы *геометрических аксиом* (курсив мой. – прим. авт.), определений и выводов, объектом которых сложилось понятие счастья и которые обнимали собою государство, нравственность, чувство правоты – все формы, вообще, человеческого творчества» [20, с. 276–277].

Именно разум, настаивал Розанов, может справиться с тем, что может оказаться «гибельным для сердца» – способен создать эффективную и компактную модель соединения в одно целое разнородных явлений. Выстраивается, можно сказать, особая над-противоречивая логика, представляемая в письме, которая может быть сопоставлена с активно обсуждаемой сегодня «логикой воображаемого» отечественного мыслителя Н.А. Васильева [8]. И важно, что в этос письма можно включить непредсказуемость и неопределенность как константы существования. Письмо действует как упорядочивающая стратегия создания смысла посредством предельного внимания к определенности событий и в этом смысле представляет собой наследование смыслов, предстает как упорядочивающий творчество палимпсест. И еще можно добавить о конструктивности математических моделей, изобретенных разумом, для описания упорядоченности. Такова, к примеру, симметричность, которая символизировала максимальную устойчивость мира, «вечное возвращение» к исходному состоянию: «Теория упорядочивает мир в сознании людей в большей степени, чем это соответствует реальному его устройству. Жесткость организации нашего интеллекта превышает в определенной степени

упорядоченность физической реальности» [8, с. 54]. Следует помнить, что Розанов в трактате «О понимании» говорил как раз о геометричности организации разума.

Значимость до-идейного понимания сближает Розанова с традицией этики. В.В. Биbihин, обращаясь к переводческой стороне творчества Розанова, отметил, что он открывает Аристотеля, «близкого существованию, прочно стоящего на общечеловеческой интуиции» (В.В. Биbihин). Понятие *предела* успокаивает своей доходчивостью, когда Розанов к одному из значений термина дает комментарий, ориентирующий на суть дела: «Не геометрическое очертание только составляет тела; сверх этой грубой физической границы всякое тело имеет вторую и менее грубую, но еще более истинную границу: сферу своего распространения или действия» [3, с. 248–249]. Прозрачная глубина античной мысли предполагает осознание иерархии отношений определенного и неопределенного.

И словно бы в приближении к теме *уединенного* в статье «Розанов как мыслитель» П.В. Палиевский вспоминает свой разговор с А.Ф. Лосевым о *диалектике* и *тайне*. В работе Лосева на заключительных страницах книги «Диалектика художественной формы» высказана мысль о том, что диалектическая архитектоника мысли питается исключительно тем сверхсмысловым началом, которое является исходным пунктом всей диалектики вообще: есть всеприсутствующая потенция и точка, сокровенный импульс, сердце жизни, что оживляет и одухотворяет целость мысли. Иными словами, всегда есть выбивающееся за определения бытийное *предшествование* мысли – неразложимый и нерастворимый далее слой, не вмещающийся, можно сказать, не поддающийся никакому диалектическому членению [14, с. 24].

Эта трансцендентная заданность присутствует как существенное, следовательно, необходим особый субъект-свидетель, способный об этом мыслить и его представлять. Прямой ход из того разговора, вел, казалось бы, непосредственно к признанию предельной значимости жизненной интуиции уединения-тайны каждого человека. Но это не значит, продолжает слова А.Ф. Лосева П.В. Палиевский из разговора о Розанове, что «нетеоретический человек прав». Ведь если совершить «возгонку» нетеоретичности на уровень теории, то «... ужаснулись бы. Гегель и все это в сравнении с ним сладкая водичка. Розанов! Он это умел,

и он начал» [14, с. 24]. При полном внимании к высказыванию надо иметь в виду, что в работах самого А.Ф. Лосева присутствует идея о наличии неразложимого и нерастворимого начала бытия: в «Диалектике мифа» Лосев говорил о необходимости *чуда*, а рассуждая о логике музыки, подчеркивал неопределенность музыкальных эйдосов. И на таком фоне письмо Розанова не столь уж *нетеоретично*: космос творчества Розанова агонален, как агонален космос у Гераклита.

Более того, Розанов подчеркивал, что он именно *колебание* полагает главнейшим принципом познания.

Как в ранней греческой мысли, отметил В.В. Биbihин, у Розанова опорного определяющего чувства природы не меньше, чем у самой современной физики, считающей своим новым достижением, например, ущербный «антропный» принцип. Для Розанова чрезвычайно важна проблема наблюдения, актуализированная в квантовой теории, и то положение, что набор возможных состояний системы задается набором базисных понятий, причем ни одно из конкретных состояний системы не может быть выводимо из состояния системы, признаваемого исходным. До взгляда наблюдателя базисное состояние системы действует как возможность, а в момент создания «момента уединенного» происходит скачок представления и последующей рефлексии.

Случай, в свою очередь, предполагает изменение письма.

Случай может быть совершенно непредсказуем до самого момента его объявления. Случай – это во многом непредсказуемый жест переживания жизни, мгновенное выпадение бытия во внимание автора, а вслед этому – жест письма. Но предстоящее событие не сводится к происшествию – в явленном предстают силы и стремления – *потенции*, которые подспудно живут и требуют проникновенного внимания и представления. Соответственно, должен быть продуман особый этос автора-свидетеля, который становится словно бы моделью антропомерности. «Техника антропологического анализа позволяет рассматривать литературу с предельно объективных позиций. ...Если мы хотим разрешить *парадокс наблюдателя* – а ведь он не должен доверять ни себе, ни своему информатору – то придется предположить единственный выход: совершенствовать технику наблюдения/понимания, отказываясь от

преждевременной интерпретации фактов и тем более от общефилософских спекуляций. Первична не интерпретация, а конструкция, состав и расположение основных элементов произведения» [17, с. 15–16]. Вслед этому можно добавить, что Розанов, вводя в свои произведения письма и высказывания потенциальных читателей, становящихся соратниками и соперниками в письме, предполагал изменение самой субъектности читателя – можно сказать, вводил читателя в становление смысла и становление самодостаточного этоса. Письмо словно бы вовсе не нуждается в чтении-опосредовании – это общество в потенции смыслогенеза само становится потенциальным свидетелем и способным к выстраиванию ответственной этической позиции уже потому, что создает живые участвующие отношения читателей друг к другу.

Розанов тематизировал представление о потенциальном сообществе понимания уединенного. В рецензии на книги Федора Шперка он говорил о существовании наряду с академической философией в России другой ее формы – «философского сектантства», темных, бродящих философских исканий. Это «жизненный порошок», соотнесенный с биологическим началом. Такая философия включает в себя автобиографичное и биографичное, ее Розанов соотносит с бурно-неустроенными трудами позднего Френсиса Бэкона, Декарта или Лейбница, это порыв мысли, самогорение, причем такая философия включает в себя все основные планы и мотивы философии. «В психологической части она действительно интересуется “коготком”, который “увяз” и заставляет “всю птичку пропасть”»; в логическом – она в самом деле пытается запутанности человеческой мысли; в метафизическом – пытается тайны бытия, “семя бытия” ... Это афористическая и неустроенная философия тесно связана с нашей литературой» [21, с. 150].

Розанова пишет, что «краевой мыслитель бродит по *краям* ведения, а не посередине их, где топчутся люди», соответственно, поэтическая форма таких сочинений понятна и естественна, и не может не нравиться по своей прихотливой свободе. И главное в том, что сочинения такого рода и такой формы представляют «чистую диалектику понятий, алгебру природы» – она вращается в элементарных понятиях, именно *неопределимых*, почти не передаваемых и крайне трудных для усвоения: «Это – абстрактные знаки усложнения человеческих понятий; вывод из

понятия бытия – понятия *тождества*, из *тождества* – *единства*, из *единства* – *множества* и т.д. все то, что со времен Платонова “Парменида” и до диалектики Гегеля составляло душу логической обработки наших отношений к космосу» [21, с. 150]. В «Уединенном» сквозь все прокладывается представление о *своем* пути.

И на этом пути очень многое будет восприниматься с «ослиным равнодушием», кроме сохранения самых дорогих переживаний, что свидетельствует о значимости первичных потенций мысли. Жизненная интуиция нашла подтверждение в самых разных сферах понимания в силу его цельности. Именно представление о потенции, заложенное в основном понятии современной квантовой физики «волновой» функции, или векторе состояния, предельно точно реализует эту идею [15, с. 183]. Не только эмбриология в XX в. шла под знаком потенциальности, но и в области квантовой физики бытие возможное, меональное, более фундаментально, чем бытие актуальное. Так и в философии – в актуальной экономике производства смыслов.

Можно сказать, что письмо как средоточие всеобщего – языка, с одной стороны, и индивидуального представления – стиля, с другой стороны, с необходимостью временится в событиях творчества – в произведениях и предполагает проявление выпадения-случая.

Первое условие письма может быть определяемо как исходное переживание. В «Уединенном» достигает наиболее полного выражения актуализация жизни: «назад» к вещам, происшествиям и событиям, переживаниям, воображаемому, произведениям, строкам, фигурам и лицам. Но такое *назад* не просто описание – действует особая жизненно наполненная эйдоло-логика, усилие проникновенного и предельно внимательного понимания. Это может быть сопоставлено со стратегией *анабасиса*, когда возвращение – никогда не повтор, а новый утверждающий жест жизнестроения. «Этим только, т.е. столькими годами мечты, воображения, соображений, гипотез, догадок, а главное – гнева, нежности, этой пустыни одиночества и свободы, какую сумел же я отвоевать у действительности, мелкой, хрупкой, серой, грязной – и объясняется, что прямо после университета я сел за огромную книгу “О понимании”, без подготовок, без справок, без “литературы предмета”, – и опять же плыл в ней легко и счастливо, как с покрывалом Лаодикеи... Странная

судьба, странная жизнь. Но я заговорил не об ней, не об этой полосе жизни и счастья, а о часах покорности действительности, когда у меня не было стеклянных (блаженных) глаз, а глаза робкие, тихие, я думаю (так я чувствую в душе, так было с внутренней стороны), глубокие, но в чем-то вечно извиняющиеся и за что-то просящие пощады, а вместе – хитрые и готовые на злость, готовые на моментальное бешенство, если бы меня не “простили” и не пропустили к той маленькой щелочке, к какой-нибудь нужной вещи, к которой я пробирался, извиняясь на все стороны. Странно, сколько животных во мне жило, шакал и тигр, а право же – и благородная лань, не говоря уж о вымистой (с большим выменем) корове, входили в стихию моей души. ... Вот это обилие в животном – еще животных, ... эта бездонность разумной и провидящей животности всегда была во мне, и отталкивала от меня, и привязывала ко мне. Мне случалось быть шакалом – о, ужасные, позорные минуты, не частые, но бывавшие – вот бегут люди, отворачиваются: глубокая скорбь проходит по душе, и вдруг выходит лань, да такая точеная, с тонкими ногами, с богозданными рогами, ласкающаяся, кладущая людям не плечи морду с такой нежностью и лаской, как умеет только лань.

Но бросим. Я все увлекаюсь. То – перед старостью.

...Нет, если я не умел или не смог жить, как хотел бы, я хотел бы, по крайней мере, умереть, как хочу» [19, с. 656–657].

Даже смерть, как видно, бесстрашно вызвана письмом на встречу с переживанием и мыслью. Можно сказать, что Розанов осуществляет серию редукций как приведений к ясности переживания и мысли посредством письма – так закладываются основания этоса письма, включенного в стяженное пространство органической необходимости, вещности, предметности и смысла. И тут интересно отметить, что для Розанова переживание как проникновенность возникает не вслед мысли и смыслу, а непосредственно раньше, и этот момент может быть совершенно непредсказуем. Случай приходит на уже сформированное ожидание: та самая «невольная музыка в душе» рефлексивно не схвачена – она предстает как голоса самого бытия. Ведь музыка, отмечает современный исследователь Ф. Лаку-Лабарт, «доводит *айсте-зис* до его предела: она вызывает бесконечно парадоксальное чувство – ощущение условия вообще любого чувствования, словно ей вы-

пала невозможная задача представлять трансцендентальное, то есть чистую возможность самого представления» [12, с. 62]. Жест представления уединенного может действительно показаться импрессионистическим или психологическим, но это только внешняя привязка и обрамление письма.

Выныривание или пульсирование того, что будет представлено письмом, во многом случайно – на это случающееся здесь и сейчас падает взгляд или это замечено слухом, а потом возникают смысловая определенность уединенного и этос свидетельства. Подобно тому, как случаи сталкиваются друг с другом, так агонально сталкиваются фрагменты письма. Более того, письмо преодолевает ложные ориентиры, которые затемняют, ослабляют или вовсе отстраняют от жизни. Письмо выступает против своего ложного понимания, когда им затмевается жизнь. «Только не пишите ничего, не старайтесь: жизнь упустите, а написанное окажется “глупость” или “не нужно”». (В.В. Розанов) Так в отношении истории и литературы: не нужно подстраивать жизнь под слова, даже если это слова великого писателя-психолога («из круга Достоевского»): «Она все думала. О Ставрогине, о Кириллове. Мир потух для нее. Люди погасли. Во всем мире торчали 6–10 огромных глаз – героев Достоевского. На Достоевского она променяла мир. В мире она ничего не слышала, кроме голоса Достоевского» [23, с. 142]. Таких людей нужно спасать: «Она забезумствовала о литературе. Разве это можно? Литература есть все-таки литература, как бы хороша и сильна она ни была. Достоевский есть Достоевский, человек, как мы» [23, с. 143]. Розанов говорит о таких «олитературенных» существах, называя их состоянием озорством, пребыванием «на колокольне». Ведь Достоевский «учил о мире и учил любить мир». Нужно мир, людей полюбить, вот в чем нужно «следовать Достоевскому». Литературные зеркала, отгораживающие от жизни, способны свести с ума.

Литература обладает надприродным измерением, в котором обладание оборачивается пленом, дар – неволей («Невольная музыка в душе...»). В какой стихии находится автор: «Что-то течет в душе. Вечно. Постоянно. Что? Почему? Кто знает? – меньше всего автор» [18, с. 45]. Этос производится уместностью понимания в бытийной предметности происходящего.

Если для Канта вопрос о свободе «единственной из всех идей спекулятивного разума,

который мы знаем *apriori*, хотя мы и не имеем возможности доказать ее, так как она есть условие морального закона, который мы знаем» (В.В. Розанов), то для автора «Уединенного» этос при всей свободе определения и действия связан с необходимостью уместного и ответственного пребывания в жизни.

Предметы, вещи, тела, а вслед им заново возникающие смыслы или те смыслы, которые уже уместно сложились и живут, сопротивляются мнению, поверхностному взгляду или заранее определенной логике. Поэтому этос письма предстает одновременно как источник и следствие предельного внимания к бытию.

Свидетельствование творчества предстает как необходимый процесс нисхождения к вещам, смыслам и переживаниям в их конкретности – такие представления как раз и сопротивляются тому, чтобы их располагали в отвлеченной или даже эмпирической психологии творчества. Конкретные представления *уединенного* словно бы рассеяны в смысловом пространстве и просвечивают друг сквозь друга одновременно. Истина, применяя выражение М. Хайдеггера, предстает как допущение, в случае Розанова – мерцание, обозначение, проникновение, именование дела с неопределенностью и ее освоением. Истина есть сама возможность существования мира, как мы его представляем – *уединенное* в себе самом содержит не только обращение к конкретной конечности, но и сопротивление доминанте временности в рефлексии – сопротивление крайностям ситуационной этики: модерн исчерпан постоянным смещением его отдельных позиций. Этос письма действует в ситуации неопределенности. И сегодня во многом осознано, что неопределенность является неотъемлемым условием свободной, продуктивной и счастливой жизни человека [5, с. 6].

В такой ситуации письмо и этос как раз и представляют актуальную для современной мысли тему *антропомерности*. И внимание автора к проживанию создает особый *внутренний опыт* – это вовсе не значит отъединения от мира: вернуться «в себя» – значит стать местом сообщения, сплавления субъекта и объекта [1, с. 29]. Этос уединенности словно бы соединяет уже известное: тему свободы, тему ответственности, тему творчества, любовь и дружбу. Соединяет даже в ресентименте: «Цинизм от страдания?.. Думали ли вы когда-нибудь об этом?» [23, с. 831]. Ценности жизни и творчества не являются категорическими условиями

выбора и поведения. Они словно бы возвращают любую современность в ее своевременную уместность с риском для утверждения и успеха. С риском для самого субъекта-свидетеля: рискованный путь утверждения – *анабасис* – в новом становлении возвращает действие в его первоначальную стадию, когда оно было деянием.

Пространства нужно предуготовить к деяниям – пробросить смысл любого исторического дела-исполнения к константным бытийным началам, тем самым освобождая сознание от испытываемого пост-современностью «этического склероза: между сциентократией и постмодернизмом» [27]. Иными словами, письмо выстраивает практический разум свободно в соответствии с истонченной техникой проникновенных экзистенциальных переживаний.

Такая этика в противопоставлении с большинством предшествующих конструкций может быть названа этикой свидетельства в ее несводимости к выстроенным теориям выбора и действия. («Я еще не такой подлец, чтоб думать о морали». – В.В. Розанов). Выступая против литературности и ее влияния на «зачитавшихся», Розанов представляет предметно-вещные данности в их поименовании, словно бы возвращая их к исходной жизненной бытийности: островки-афоризмы, наброски, мерцания проверены наличностью и устойчивостью в мире. Создается пространство понимания, не впадающее в презрение к вещному миру и защищенное от произвола дурной бесконечности обозначений.

Но вернемся к словам Лосева о Розанове («Гениальный был человек, да... Ведь что наговорил...»). Актуально ли высказывание по поводу конструктивности того, что «начал Розанов» в сегодняшнем контексте? Лосев, надо думать, имел в виду не просто вроде бы совершенно очевидную измену *логосу*. Речь идет, на верное, об уже упомянутой не-теоретичности, хотя Лосев в своих художественных произведениях представлял фигуру искажающего истину субъекта-провокатора, негативно близкую образу субъекта-свидетеля [7, с. 628–630].

Мысль Розанова в рациональном плане – топологична, в ней выстраивается актуальное присутствие и взаимодействие смыслов и позиций разных источников и времен. Можно говорить о над-противоречивости логики письма Розанова. Пространство мысли следует понимать открытым и многомерным – по Лобачевскому, которого Розанов знал и ценил.

Об отношении этого розановского пространства к современной топологии бытия, отметил В.В. Биbihин, нужно думать и говорить особо [2, с. 52]. Особенно в ситуации последних лет, когда тема времени и временности смещается темой расположенности и пространства.

Интерес к этосу свидетельства актуализирован в связи с темами *неопределенности* и рефлексии субъектности – в эстетике, антропологии, медиасфере. Именно потому, что неопределенность открывает некую чистую возможность осуществления, которая утрачена или кажется полностью реализованной в предшествующих определениях. Конечно, Розанов не единственный, кто заметил наступление неопределенности и понял необходимость иметь с ней дело, но он один из немногих, кто шел навстречу проблеме.

«Уединенное» представляет открывающееся и непредсказуемое, ни к чему предварительно не сводимое. В таком понимании неопределенность более не выступает аналогом других характеристик существования – она побуждает к радикальным изменениям творчества, представлена в радикальности письма. М. Фуко, рассуждая о предельности опыта и рефлексии пишет: «Чтобы пробудить нас от сна, замешанного на диалектике и антропологии, потребовались ницшевские образы трагического и Диониса, смерти Бога и философского молота, сверхчеловека, идущими к нам воробьиными шажками, и Возвращения. ...Речь идет о том, чтобы исходя из них, дать наконец волю нашему языку» [26, с. 120]. А предельность вопрошания в творчестве Розанова идет, по его словам, в свою очередь, от глубинного переживания «чувства вины» – стремления совершенствования как утверждения.

Розанов соединяет этос письма с *бедами человеческими*. «Главная моя радость в литературе, что я донес до слуха читательского, – а там, может быть, и со временем и до слуха законодателей и закона – разные беды людские, главным образом – семейные. И как подумаешь, что вот бегут-бегут ножонки и несут в пригоршнях люди свои печали скрытые, иногда “сокровенные”, то чувствуешь и годы, и месяцы своей жизни “оправданными”» [22, с. 327]. Розанов говорит как бы из бытийной глубины («Я наименее рожденный из людей»), отсюда видит многое и у многих.

Понимание – бытийно, а по своему истоку и силе – сакрально и мистично. И с этим же свя-

зан этос свидетельства и этика, которую можно обозначить как этику события. Не только в смысле взаимности встреч предшествующих и его собственных творческих представлений и не только в смысле событийности с *другим*, приглашенным, можно сказать, вовлекаемым в письмо. Событийность состоит, во-первых, в гетерогенном взаимодействии определенных и устойчивых, схваченных письмом предметов, вещей и переживаний, представленных в своих местах бытия. Во-вторых, событийность соотносена со всем фондом ценностей и смыслов, на фоне которых она возникает. В-третьих, этика события предполагает свободную включенность в письмо, по слову Розанова, *чуткость* субъектов-читателей. В письме, оказываясь в ауре ценностей и вещей, они сохраняют свою свободу в понимании представленных свидетельств. И нужно иметь в виду, что речь не идет о виртуальной герменевтике, в представлении которой каждый вычитывает из произведения настолько «что-то свое», в результате чего утрачивается целостная определенность произведения и его смыслообразов. В этом, можно сказать, проявляется долженствование этики события – будучи вовлеченным в текст, переживая собственную антропоразмерность, человек-читатель вынужден осознавать влияние представленного события, в которое он оказывается вовлекаем собственным возникающим при чтении свидетельствованием. Важно для Розанова, что рефлексивное осмысление события происходит после того, как он его видел: «Есть затаженность души» [18, с. 156].

Розанов постоянно говорил о *семени*, его бытийности, даже о его *морали*. Это мораль за пределами императива – мораль жизненного утверждения. Мораль самосозидания, можно было бы вспомнить про «этику человеческого вида» (Ю. Хабермас), с той только принципиальной разницей, что Розанов в отличие от такой позиции, даже отстраняясь от исторической традиции веры, совершает жест *призыва* «Абсолютного свидетеля»: «Авраам призвал Бога, а я сам призвал Бога... Вот вся разница» [18, с. 140]. Морально то, что способствует жизни. Другое дело, что жизнь должна быть одухотворенной, а духовность жизненной. Еще точнее сказать: бытийность семени взращивается самим словом, природа в слове произрастает. Так произрастает пол, кровь, даже семья – только будучи вызваны из природы словом, они действительно «по-человечески» существуют.

Розанов, открывая себя, натурализуя себя в «имманентном пантеизме» (Н.А. Бердяев), создавая предельную *прозрачность* из собственной жизни и творчества, на самом деле делал себя свидетелем почти невидимым: совершенная прозрачность именно невидима. Отсюда его слова о том, что он «всегда за занавесочкой» – невидимой и непроницаемой. И другой эффект письма Розанова – *зеркальность*: письмо Розанова способно отражать все взгляды, показывая каждому его собственное отображение. «Онтологическое место субъекта» (А.К. Секацкий) письма и чтения возникает благодаря этой двойной невидимости, хотя она воспринимается как очевидная открытость. Представляя письмо, Розанов на самом деле вводит его и читателя в предельную напряженность смысла и восприятия: с одной стороны, неопределенность кажется как бы уловленной и укрощенной, а с другой – даже в очевидных данностях представит не улавливаемой ни в каком даже самом конкретном изображении. Потому так множатся представления и повторы, что есть понимание: даже предельная множественность все равно не складывается в обобщенную картину мира или картину человека.

Розанов историзирует бытие – уже в трактате «О понимании» исследованы формы разума. Вся последующая работа письма направлена на то, чтобы, во-первых, показать, что природа существует только потому, что существует история как понимание, а во-вторых, Розанов стремится подорвать законы самой истории, обращаясь к органике. Его письмо может быть соотносено с *влажностью*: влажный стиль – «это стиль подвижный и живой, чуждый строгости и назидательности, прихотливый, чувственный», метафоры текучести в евангельском контексте получают дополнительные коннотации образа «живой воды, текущей в жизнь вечную» [4, с. 67]. Можно сказать, что Розанов постоянно осуществляет жест приближения к истине, которая открывается только тогда, когда включена в становление письма.

Но такая осознанная установка – не только эстетический или, тем более, гносеологический факт. Это знак присутствия невыразимого и неопределимого бытия, к пониманию чего стремятся жизнь и творчество. Да и образ влажности амбивалентен: с одной стороны, влажность соотносена с человечностью, а с другой стороны – способна расслаблять сознание. А.Ф. Лосев как раз и уподобил Розанова существу, бле-

стевшему именно в своей – *влажной* – среде. Извлечение и натурализация такого письма будут опасны для свидетеля, может, даже губительны. Письмо Розанова создает особый мир внимания и восприятия, не каждому субъекту дано входить в этот мир, тем более что многие как раз входить туда и не хотят. «Влажный стиль» Розанова способен гибко прокладывать себе дорогу – приспосабливается к месту, становится уместным даже в тех случаях, где это кажется совершенно невозможным, письмо вводит в закрытые и потаенные места, влажность письма соотносена со страстностью и опьяненностью любовью, гибкостью, текучестью. И дело не в самой жесткости («сухого») смысла – как раз Розанов стремился к предельной предметно-точной выразительности, а в осознании неспособности объяснить происходящее становление сухим стершимся выражением.

И вера для Розанова имеет дело с тем, что до конца никогда не становится определенным. В частности, поэтому исторические существования религий сталкиваются между собой. На самом же деле в религии происходит встреча в особом пространстве, где действует «восхождение/нисхождение» – мистические высоты дают возможность подлинного понимания человеком себя самого. И только тут – самое ближайшее и искреннее покаяние и рассуждение. Это осознание несоответствия высотам – подлинный *свидетель* соотносит себя не с тем, что налицо рядом, тем самым делая себя вторичным, а с недостижимым.

Гармоническое примирение тут невозможно. Оно способно выступать как недостижимый предел – в такой понимающей устремленности побуждать возвышенное. Поэтому в возражение Бердяеву об отсутствии в философии Розанова трансцендентных устремлений можно сказать, что у Розанова другое представление о трансцендентном: это то тайное, что невидимо для большой философии и даже для большой теологии. Присутствие тайны здесь и сейчас, включенность: трансцендентное открывает себя, оставаясь вызовом и тайной.

Розанов выстраивает свободное письмо с полным осознанием того, что литература обладает надприродным измерением: автор-свидетель зараз пребывает в понуждающем событии и свободен. Рождается автор в *письме* («счастье писания – счастье рождения»). И «человек письма» – особое существо, «монастырь-писатель», как сказал Розанов о Н.Н. Стракове. Субъект

письма может представлять как «страдательное существо» – «не о себе только», отвечает «за всех нас». Отсюда представление о родовой природе этоса и основание для подлинного свидетельства, причем *Церковь* понята как «единственно поэтическое». *Письмо* представлено как моральное усилие поименования – это та мораль, которая «раньше онтологии». Свидетельствование в письме для Розанова – свободно выстраиваемый этос: люди «во взаимном миловании, ласкании», что противостоит формализму почтения, царящему вокруг религии. Вечное, спроецированное в письмо, предстает как целесообразное – письмо содержит в себе особого рода *телос*. Актуализируя проблему, Жак Деррида пишет: «Письмо как начало чистой историчности, чистой традиционности есть лишь телос истории письма, философия которой еще должна прийти» [10, с. 22]. Согласно Розанову, нужно не столько проецировать вечное на современное, сколько современное понять как проявленную бытийность. И в этом плане признание неопределенности свидетельствует о неисчерпаемости бытия, ставит важнейший для актуальной рефлексии вопрос: каков *этос* познания?

Как раз в опыте понимания с его темами *утверждения* и *силы* представления об определенности («одно»), конституируемой в понятии, будут отвергнуты. Речь пойдет об особом рода неопределенной сверхсубъективности, но не суммарного или коммуникативного порядка. Формируется другой субъект – субъект понимания положен вне-субъективно или сверх-субъективно: человеческое в человеке превосходит его отдельность, сохраняя индивидуальность. Человечность состоит в превосхождении – в создании несоизмеримой с обыденностью энергетики как особого рода бесконечной субъективности, которая имеет собственные топоры существования. В субъекте скрыта и способна развиваться возможность – это роднит человека с природой и всем миром. Возможность воображения хранит и спасает человека, включает его в понимание. В случае Розанова воображение предшествует рефлексии, оно «родом из детства», рефлексия потом только открывает его в письме. Не случайно одно из его воспоминаний названо «Мечты в щелку»: бытие не знает разделения, но посредством понимания способно впускать в себя внимание и мысль – воображающее чувство, становящееся осмысленным гордо позднее своего появления.

Ответственно самое творчество, если оно является подлинным. Поэтому речь должна идти не только о личной нравственности, но об основаниях этического вообще. Часто приводят, казалось бы, вполне определенные слова Розанова: «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали», но это понуждает поставить вопрос о возможностях морального поведения и его определения. Какой *этос* стремится утвердить Розанов? Это моральность ответственного утверждения жизни: здесь религиозное совмещено с этическим, человеческое устремлено к высокому во всем существующем. Даже в предельной ослабленности существования, когда дочитываются только до середины, «старость – не радость», совсем скверная жизнь и не понятно, кому она нужна, действует поверх всякой морали понимание: «Но Бог сказал: “Живи”. И вот – живешь» [24, с. 111]. Живешь, можно добавить, правдиво свидетельствуя и утверждая ценность жизни.

Письмо выступает как *другое* цельного знания. Тут выстраивается особая этика жизни, не отделенная от литературы, но к ней не сводимая. Можно сказать, что их сопоставление «эмбрионально» задано, свидетельствовать об этом существовании опасно и трудно. Но в то же время странно-приятно, можно, наверное, сказать об особом рода катарсисе свидетельствования. «И как мне приятно жить в этом задыхании» (В.В. Розанов), существование как бы имманентно, но при этом и трансцендентно («Я похож на младенца в утробе матери, но которому вовсе не хочется родиться. Мне и тут тепло») [18, с. 139]. Понимание находится вне влияния, но в нем «сходятся» жизнь и смысл, экзистенция и дискурс, свобода и необходимость.

И внимание к «Апокалипсису» («чудесная пророческая книга») – интерес именно к свидетельствующей *книге*, в которой начало и конец совпадают («Как, когда только что *начиналось* все, творец его увидел и *конец*»). Свидетельство – не линейное повествование, а становящееся подобие сферы. Имманентное и трансцендентное – то, что принципиально разделил Н.А. Бердяев, взаимопроникают: письмо для самого себя является не только основанием, но тайной, жертвой и утверждением. Поддержка и спасение письма несопоставимо важнее того, что конкретно на нем исполнено, хотя каждое из исполненного важно в свое время. О нем можно спорить, все *историческое* поддается смещению. Письмо содержит в себе все суще-

ствующие смыслы в едином пространстве соотношенности и потому не позволяет уклониться от самого процесса построения понимания.

Письмо обращено к пониманию. Розанов – философ письма. Экзистенциально это было им пережито и осознано («несу литературу как крест мой»). Письмо становится универсальной формой осуществления смысла – в этом плане постоянность «органического» у Розанова говорит о субстанциальной соотношенности органики и письма. В преодолении *исторического* Розанов близок всей традиции философии жизни, но об особенностях русской философии жизни говорит постоянная – то явная, то скрытая – полемика с Ницше. Интересно отметить, что разрабатываемая в конце XX в. тема письма направлена не против органики, а против доминанты логического – отсюда деконструктивная критика «фалло-фоно-лого-центризма».

В.В. Розанов уже в самом начале «Уединенного» писал об одновременности отстранения и связи с литературой. Казалось бы, тут проще всего говорить о конкретных ценностных решениях и жизненных переживаниях, но Розанов, возражая, выходит в пределы некоего странного «незнания добра и зла» – можно сказать, деконструктивно дает осесть самому понятию этоса. И это особенно ставит себе в заслугу, говоря о широте мысли и неизмеримости «открывающихся горизонтов». Стремится следовать чему-то *иному*, чем конкретная «истина» или «зло». Более того, открыто утверждает, что произрастающие в душе семена неясны в плодах ему самому: письмо – это совершенная невольность писания, где зло и добро были написаны и так вошли в свидетельствующее понимание. Этические вопросы, как видно, переводятся в пространство символического обмена. Письмо же обращает к *природе слова*: как и *понимание*, у Розанова *письмо* актуализирует соотношенность. Онтология *письма* составляет особый мир, который развивается рядом с миром жизни: это сфера утверждения. Эстетическое творчество этически фундировано, но это этика не формального предписания, а этика утверждения. Личности и лица важны, но необычайно важно «ничье», именно это родовое создает человечность. «А и в самом деле выше: как толпа “мучеников христианства”, выведенных в цирк на борьбу со львами, на сражение со львами, причем самые имена их неведомы, выше проповеди всех Апостолов, которые “глаголом жгли сердца людей”, которые если и пострада-

ли, зато – и велики. Прославлены. И вообще с них началось “новое Небо”» [25, с. 125]. Письмо своим становлением создает представление об утверждающем этосе, свидетельствование не есть дело одного только автора послания, а дело всей предшествующей любовно-понимающей энергии («...тоска народов, отчаяние пролетариата в кольцах удава буржуазии – все это в громадных словах, в дивных чеканных формулах, есть у Достоевского» [25, с. 158]). Существуя как послание, письмо-процесс никогда не может быть законченно воплощено, скорее речь может идти о принципиальной потенциальности воплощений. Поэтому сведение к наличной «авторской» современности всегда оказывается ущербным (избыточная воплощенность), соответственно не удовлетворяемое «стершейся» формой.

Письмо Розанова – доведенное до предела «*русское письмо*». Высказывание литературы о самой себе. Помогает обрести место («нашли свое место в мире», «*civis rossicus*»).

Этика творчества в некотором смысле надстраивается над высказываниями, это, если угодно, трансцендентальное измерение творчества, совсем не сводимое к психологии («душе»). Предположение самой возможности высказывания. Неопределенность, но не безличность влекущей силы: одного выбирает, а другого – нет. И с «точки зрения» *письма*, которая постоянно смещается, в отношении одного и того же человека, события или переживания могут быть высказаны противоположные вещи. Так с именем, которое может быть предельно изменено интонацией или суффиксом, но ничего подобного не может быть в отношении всего поименования. *Письмо* возвращает творчество к своей мета-физической уместности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Батай Ж. Внутренний опыт. СПб.: Аxiома; Мифрил, 1997.
2. Биbihин В.В. К метафизике другого // Начала. 1992. № 3. С. 52–65.
3. Биbihин В.В. К переводу «Метафизики» Аристотеля // Биbihин В.В. Слово и событие. М., 2001. С. 237–249.
4. Брагинская Н.В. Влажное слово: византийский ритор об эротическом романе. М., 2003.
5. Вульф К. Вместо предисловия: неопределенность как условие человеческой жизни // Неопределенность как вызов. Медиа. Антропология. Эстетика. СПб.: РХГА, 2013. С. 4–12.

6. Грякалов А.А. Василий Розанов. СПб.: Наука, 2017.
7. Грякалов А.А. Субъект-свидетель и утверждение жизни (взгляды вслед А.Ф. Лосеву) // Философ и его время. К 125-летию со дня рождения А.Ф. Лосева. XVI Лосевские чтения. М.: Макс Пресс, 2019. С. 314–328.
8. Грякалов А.А., Грякалова Н.Ю. В.В. Розанов: топосы схождения и логика взаимодействий // Соловьевские исследования. 2019. Вып. 2. С. 128–145.
9. Гусев С.С. Смысл возможного. Коннотационная семантика. СПб.: Алетейя, 2002.
10. Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000.
11. Иванова Е.В. Апокалипсис литературы // Василий Васильевич Розанов / Под ред. А.Н. Николюкина. М.: РОССПЭН, 2012. С. 98–116.
12. Лаку-Лабарт Ф. Musica ficta (Фигуры Вагнера). СПб.: Аxiома; Азбука, 1999.
13. Мамардашвили М.К. Необходимость себя. М.: Лабиринт, 1996.
14. Палиевский П.В. Розанов – мыслитель // Василий Васильевич Розанов / Под ред. А.Н. Николюкина. М.: РОССПЭН, 2012. С. 22–33.
15. Паршин А.Н. Розанов и наука // Василий Васильевич Розанов / Под ред. А.Н. Николюкина. М.: РОССПЭН, 2012. С. 180–188.
16. Перцов П.П. Воспоминания о В.В. Розанове // Перцов П.П. Литературные воспоминания 1890–1902. М., 1997. С. 258–273.
17. Подорога В.А. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы в двух томах. Т. 1. Н. Гоголь. Ф. Достоевский. М.: Культурная революция; Логос; Logos-altera, 2006.
18. Розанов В.В. Полное собрание «опавших листьев». Кн. 1. Уединенное. М.: Русский путь, 2002.
19. Розанов В.В. Мечта в шелку // Розанов В.В. О себе и жизни своей. М.: Московский рабочий, 1990. С. 137–141.
20. Розанов В.В. Автобиография В.В. Розанова (Письмо В.В. Розанова к Я.Н. Колубовскому) // Розанов В.В. Собрание сочинений: в 30-ти т. Т. 27. Юдаизм. Статьи и очерки 1898–1901 гг. М.; СПб.: Республика; Росток, 2009. С. 275–278.
21. Розанов В.В. Две философии (Критическая заметка) // Розанов В.В. Собрание сочинений: в 30-ти т. Т. 25. Природа и история. Статьи и очерки 1904–1905 гг. М.; СПб.: Республика; Росток, 2008. С. 150–164.
22. Розанов В.В. Рассказ простой женщины // Розанов В.В. Собрание сочинений: в 30-ти т. Т. 24. В чадую войны. Статьи и очерки 1916–1918 гг. М.; СПб.: Республика; Росток, 2008. С. 324–329.
23. Розанов В.В. Задумалась // Розанов В.В. Собрание сочинений: в 30-ти т. Т. 24. В чадую войны. Статьи и очерки 1916–1918 гг. М.; СПб.: Республика; Росток, 2008. С. 141–143.
24. Розанов В.В. Из мира слепых // Розанов В.В. Собрание сочинений: в 30-ти т. Т. 24. В чадую войны. Статьи и очерки 1916–1918 гг. М.; СПб.: Республика; Росток, 2008. С. 109–112.
25. Розанов В.В. Собрание сочинений: в 30-ти т. Т. 12. Апокалипсис нашего времени. М.: Республика, 2000.
26. Фуко М. О трансгрессии // Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины XX века / Сост. С.Л. Фокин. СПб., 1994. С. 113–133.
27. Lenk, H., 1996. Eurosklerose und Ethik in der Wissenschaft zwischen Szientokratie und Postmodernismus. Bemerkungen zu (un)geistigen Tendenzen der Gegenwart in der Wissenschaft. In: Salamun, K. ed., 1996. Geistige Tendenzen der Zeit: Perspektiven der Weltanschauungstheorie und Kulturphilosophie. Frankfurt a. M., pp. 43–83.

REFERENCES

1. Bataille, G., 1997. Vnutrennii opyt [Inner experience]. Sankt-Peterburg: Axioma; Mifril. (in Russ.)
2. Bibikhin, V.V., 1992. K metafizike drugogo [To the metaphysics of the other], Nachala, no. 3, pp. 52–65. (in Russ.)
3. Bibikhin, V.V., 2001. K perevodu «Metafiziki» Aristotelya [To the translation of Aristotle's Metaphysics]. In: Bibikhin, V.V., 2001. Slovo i sobytie. Moskva, pp. 237–249. (in Russ.)
4. Braginskaya, N.V., 2003. Vlazhnoe slovo: vizantiiskii ritor ob eroticheskom romane [Wet word: Byzantine rhetorician on erotic romance]. Moskva. (in Russ.)
5. Wulf, Ch., 2013. Vmesto predisloviya: neopredelennost' kak uslovie chelovecheskoi zhizni [Instead of a preface: uncertainty as a condition of human life]. In: Neopredelennost' kak vyzov. Media. Antropologiya. Estetika. Sankt-Peterburg: RKhGA, 2013, pp. 4–12. (in Russ.)
6. Gryakalov, A.A., 2017. Vasilii Rozanov [Vasily Rozanov]. Sankt-Peterburg: Nauka. (in Russ.)
7. Gryakalov, A.A., 2019. Subekt-svidetel' i utverzhdenie zhizni (vzglyady vsled A.F. Losevu) [Subject-witness and affirmation of life (reflections after A.F. Losev)]. In: Filosof i ego vremya. K 125-letiyu so dnya rozhdeniya A.F. Loseva. XVI

- Losevskie chteniya. Moskva: Maks Press, 2019, pp. 314–328. (in Russ.)
8. Gryakalov, A.A. and Gryakalova, N.Yu., 2019. V.V. Rozanov: toposy skhozhdenni i logika vzaimodeistvii [Vasily Rozanov: the toposes of convergence and the logic of interactions], Solov'evskie issledovaniya, no. 2, pp. 128–145. (in Russ.)
9. Gusev, S.S., 2002. Smysl vozmozhnogo. Konnotatsionnaya semantika [The meaning of the possible. Connotational semantics]. Sankt-Peterburg: Aleteiya. (in Russ.)
10. Derrida, J., 2000. Pis'mo i razlichie [Writing and difference]. Moskva. (in Russ.)
11. Ivanova, E.V., 2012. Apokalipsis literatury [Apocalypse of literature]. In: Nikolyukin, A.N. ed., 2012. Vasilii Vasil'evich Rozanov. Moskva: ROSSPEN, pp. 98–116. (in Russ.)
12. Lacoue-Labarthe, P., 1999. Musica ficta (Figury Vagnera) [Musica ficta: figures of Wagner]. Sankt-Peterburg: Axioma; Azbuka. (in Russ.)
13. Mamardashvili, M.K., 1996. Neobkhozdimost' sebya [The necessity of oneself]. Moskva: Labirint. (in Russ.)
14. Palievskii, P.V., 2012. Rozanov – myslitel' [Rozanov as a thinker]. In: Nikolyukin, A.N. ed., 2012. Vasilii Vasil'evich Rozanov. Moskva: ROSSPEN, pp. 22–33. (in Russ.)
15. Parshin, A.N., 2012. Rozanov i nauka [Rozanov and science]. In: Nikolyukin, A.N. ed., 2012. Vasilii Vasil'evich Rozanov. Moskva: ROSSPEN, pp. 180–188. (in Russ.)
16. Pertsov, P.P., 1997. Vospominaniya o V.V. Rozanove [Memories of Vasily Rozanov]. In: Pertsov, P.P., 1997. Literaturnye vospominaniya 1890–1902. Moskva, pp. 258–273. (in Russ.)
17. Podoroga, V.A., 2006. Mimesis. Materialy po analiticheskoi antropologii literatury v dvukh tomakh. T. 1. N. Gogol'. F. Dostoevskii [Mimesis: materials of analytical anthropology of literature in 2 volumes. Vol. 1. N. Gogol. F. Dostoevsky]. Moskva: Kul'turnaya revolyutsiya; Logos; Logos-altera. (in Russ.)
18. Rozanov, V.V., 2002. Polnoe sobranie «opavshikh list'ev». Kn. 1. Uedinennoe [Fallen leaves. Solitaria]. Moskva: Russkii put'. (in Russ.)
19. Rozanov, V.V., 1990. Mechta v shchelku [Dream through a crack]. In: Rozanov, V.V., 1990. O sebe i zhizni svoei. Moskva: Moskovskii rabochii, pp. 137–141. (in Russ.)
20. Rozanov, V.V., 2009. Avtobiografiya V.V. Rozanova (Pis'mo V.V. Rozanova k Ya.N. Kolubovskomu) [The autobiography of Vasily Rozanov (A letter from V.V. Rozanov to Ya.N. Kolubovsky)]. In: Rozanov, V.V., 2009. Sobranie sochinenii: v 30-ti t. T. 27. Yudaizm. Stat'i i ocherki 1898–1901 gg. Moskva; Sankt-Peterburg: Respublika; Rostok, pp. 275–278. (in Russ.)
21. Rozanov, V.V., 2008. Dve filosofii (Kriticheskaya zametka) [Two philosophies (A critical note)]. In: Rozanov, V.V., 2008. Sobranie sochinenii: v 30-ti t. T. 25. Priroda i istoriya. Stat'i i ocherki 1904–1905 gg. Moskva; Sankt-Peterburg: Respublika; Rostok, pp. 150–164. (in Russ.)
22. Rozanov, V.V., 2008. Rasskaz prostoi zhenshchiny [The story of a simple woman]. In: Rozanov, V.V., 2008. Sobranie sochinenii: v 30-ti t. T. 24. V chadu voyny. Stat'i i ocherki 1916–1918 gg. Moskva; Sankt-Peterburg: Respublika; Rostok, pp. 324–329. (in Russ.)
23. Rozanov, V.V., 2008. Zadumalas' [Get lost in thought]. In: Rozanov, V.V., 2008. Sobranie sochinenii: v 30-ti t. T. 24. V chadu voyny. Stat'i i ocherki 1916–1918 gg. Moskva; Sankt-Peterburg: Respublika; Rostok, pp. 141–143. (in Russ.)
24. Rozanov, V.V., 2008. Iz mira slepykh [From the world of the blind]. In: Rozanov, V.V., 2008. Sobranie sochinenii: v 30-ti t. T. 24. V chadu voyny. Stat'i i ocherki 1916–1918 gg. Moskva; Sankt-Peterburg: Respublika; Rostok, pp. 109–112. (in Russ.)
25. Rozanov, V.V., 2000. Apokalipsis nashego vremeni [Apocalypse of our time]. Moskva: Respublika. (in Russ.)
26. Foucault, M., 1994. O transgressii [On transgression]. In: Fokin, S.L. ed., 1994. Tanatografiya erosa. Zhorzh Batai i frantsuzskaya mysl' serediny XX veka. Sankt-Peterburg, pp. 113–133. (in Russ.)
27. Lenk, H., 1996. Eurosklerose und Ethik in der Wissenschaft zwischen Szientokratie und Postmodernismus. Bemerkungen zu (un)geistigen Tendenzen der Gegenwart in der Wissenschaft. In: Salamun, K. ed., 1996. Geistige Tendenzen der Zeit: Perspektiven der Weltanschauungstheorie und Kulturphilosophie. Frankfurt a. M., pp. 43–83.

